

Лев АННИНСКИЙ

г. Москва

Не парвато мне мужиельном
 С этой грустью родимой земли,
 С тоном, с ком у милой кокоб.ви
 С муравьями в колодезной дали
 Не светит тебе в дни непогоды
 И мечом тебе навсегда,
 Что будет твои парокорел,
 Что светит тебе поезда
 30/хII 67? Вологда
 Оу. Рубцов.

НИКОЛАЙ РУБЦОВ:

«Россия! Как грустно!»

Не знаю, зачем я заговорил с ним. Чёрт дёрнул. Мы и знакомы-то формально не были – просто кивали друг другу, когда он заходил в журнал «Знамя» со стихами, а я сидел в той же комнате и редактировал критику. Ну, ещё в столовке Литературного института – в том же «герценовском» дворе – иногда оказывались в одной очереди.

Кажется, в той очереди и дёрнул меня чёрт сказать ему:

– Николай! Я прочёл подборку ваших стихов в журнале...

Он скользнул взглядом и громко, отчётливо произнёс:

– Ваше мнение о моих стихах меня не интересует!

И повернулся к столикам с подносом в руках.

Естественно, после этого я о его стихах не высказывался. Лет пятнадцать. Пока жанр «Венка критических сонетов» не заставил меня в 1984 году на миг обернуться в его сторону. А со всех сторон летели искры от столкновений на его счёт поклонников и разоблачителей. Особенно после его гибели в 1971 году. При жизни он, кажется, на эти мнения не реагировал.

Теперь моего мнения он, слава богу, уже не узнает. Так что можно всё додумать. Ибо без него картина поэзии второй половины XX века неполна. Неполна и музыка поколения – без его угрюмого молчания, сквозь которое долетает необъяснимая грусть.

«Грусть, похожая на радость».

А всё-таки есть что-то загадочное в той ярости, которую он вызвал в критике при своём появлении и которая всё усиливалась – в параллель растущей народной славе.

«Смердяков русской поэзии» – это ж написано о Рубцове четверть века спустя после его гибели! Значит, проняло?

Иные скандалы, возможно, провоцировал он сам. Когда, отслужив на флоте срочную, поступил в Литературный институт и предался обычной студенческой гульбе. Восстановился потом (на заочном отделении) и Литинститут всё-таки окончил, получив таким образом высшее образование, – раньше не пришлось: после сиротского детдома и неполной средней школы на Вологодчине посещал два техникума, но оба бросил. Перейдя из краснофлотцев в литераторы, не нашёл себе мес-

та: жил полубездомно, сводя концы скудными гонорами, заваливаясь надолго в родную деревню, снимая там углы. Более всего любил сидеть один ночами, топя печку, слушая вой ветра и сочиня... но не всегда записывая сочинённое, потому что песни набегали одна на другую.

И в этом-то николевском захолустье не оставляла его в покое ревностная злость литературных критиков! И при жизни, в 60-е годы, и после смерти.

Почему?

А вдумаясь в логику тех десятилетий.

В 70-е годы интенсивно осмыслиются только что прошедшие 60-е – в плане либерально-героическом, само слово «шестидесятник» приобретает ореол борца за свободу. Подступающая гласность всё более развязывает языки. «Застой» лишь усиливает неотступную жажду «крика». Яростное многоголосье нарастает и в 80-е годы, всё больше делая в недавней памяти отошедшие 60-е временем ликующего напора свободы. О будущем крахе либеральных иллюзий не догадывается пока никто.

Меж тем лучшие стихи написаны Рубцовым именно в 60-е годы. И никаким боком он с «шестидесятниками» не соприкасается. Ни с либералами, ни с их соратниками и оппонентами, собирающимися в ту пору под теми или другими знамёнами.

Так, может быть, потому и вызывает фигура Рубцова, укрывшегося во вьюжной северной ночи провинциальной Вологодчины, такие острые чувства, что должен бы... а почему-то не вписывается в голосащие литературные отряды?

Ни в романтически-либеральный (в котором я, по стечению обстоятельств, иногда оказывался) – откуда рубцовское «молчание» и впрямь могло показаться «заскоком». Ни в консервативный (которому я иногда необъяснимо сочувствовал), где копили силу громогласные борцы за Русь православную.

В этот отряд Рубцов тоже плохо вписывается. Иконы Рубцова не интересуют: скользнув по ним взглядом, он может спросить с наивностью потомственного лесовика: а что, Бог вправду существует? – но это скорее в шутку, всерьёз же считает, что от «мистицизма» надо избавляться. В стихах спокойно и искренне воспекает (помимо кремлёвских дворцов) сельского коммуниста, которому-то и сочувствует по-настоящему. (О том, что между атеистическим коммунизмом и православным царством надо выбирать, тоже ещё никто так круто не задумывается, это назреет в 90-е годы, после краха советской власти и исчезновения Советского Союза.)

А пока сам Вадим Кожин берёт Рубцова под

своё крыло. Не только как идейного борца – скорее как лирического самородка: уж Кожин-то сразу почувствовал и оценил в рубцовском голосе врождённый мелодизм. (Сам Рубцов так определил тональность своего стиха в письме Александру Яшину в 1964 году: «лиризм, естественность, звучность».)

Однако ни либеральная, ни религиозная программа у Рубцова не брезжит.

Но всё-таки что-то брезжит! За ледяной завесой северной ночи!

Но что? Не тот ли колдовской отсвет, который неясен, необъясним, неотступен при всей своей смутности, но изначально заложен в талант Рубцова и чувствуется с самых ранних его стихов?

*Вокруг меня ничто неразлично,
И путь укрыт от взора моего,
Иду, бреду туманами седыми;
Не знаю сам, куда и для чего?*

Цель должна быть неопределима... А путь – сквозь седые туманы нащупывается у нас с помощью таких ориентиров, как свобода и воля.

Не уверен, что эти предметы преподавались Рубцову в лесотехническом техникуме, где он одно время учился, или рассматривались в цехах Путиловского завода, где он одно время работал, но что в интеллектуальном кругу Вадима Кожина такие проблемы обсуждались, у меня нет сомнений. Так что здесь несостоявшийся лесовод и бывший шихтовщик наверняка подковался¹.

У Рубцова свобода – то сзади, в прошлом, которое «отгоревало», то впереди, где она «мелькает»... Глядя на свободу птиц, лирический герой смотрит им вслед с тоской: у каждой – «свой полёт».

Другое дело – воля! Вот куда действительно тянет: умчаться! В «пугачёвские вольные степи»!

Да не умчишься: не степи простираются перед глазами героя, а непроходимые болота. Непролазная тайга... И сугробы, сугробы, сугробы...

Глухие трясины. Глухая тишь за окошком. Глушь, где гуляют бродяги и острожники.

В сезон дождей – серая вода, серое небо...

«От всех чудес всемирного потопа досталось нам безбрежное болото».

Размыты дороги. Горестны дожди. Грустно.

Кругом слякоть и тьма.

«И горький запах слякоти и тьмы».

¹ На всякий случай: свобода – ощущение измеримое, скорее «западное», – моя свобода кончается там, где начинается свобода других; воля – ощущение неизмеримое, чисто «русское» – безграничный порыв вовне, и тем же словом – сжигание порыва внутрь, до стальной точки.

В этой безжизненной водной равнине – островами жизни – холмы... и деревни – на холмах...

Точный в деталях рубцовский пейзаж соединяет апокалиптическую природную непогоду с приметами послевоенной колхозной деревни.

Гниющие лодки. Плывущие брёвна. Ревущие МАЗы.

«Когда в грязи буксует грузовик, мне этот вой выматывает душу».

И в этот вой врывается – гармошка! Топот и свист гуляющей братвы! Поразительно воссозданная звукопись русской деревни, разбойно удалой, тревожной и живучей посреди тьмы – лихая гульба под свист ветра, гонящего ворохи листьев...

Не будем ханжески закрывать глаза (впрочем, скорее уши) на эту гульбу, она спасает народ от знобящей тоски. Всё тут: и скандальные пляски, и разбитые (распитые) поллитровки, и в крутом финале – весёлая автоэпитафия, которая с ходу влетает в память поклонников Рубцова:

«Мне поставят памятник на селе, буду я и каменный навеселе».

Так о чём всё-таки шум посреди такого безмолвия? В чём сверхзадача этих мастерски исполненных пейзажей и зарисовок? Как понять это героическое самопреодоление? Зачем оно?

*Зачем? Не знаю. Сердце стынет
В такую ночь. Но все равно
Мне хорошо в моей пустыне,
Не страшно мне, когда темно.*

*Я не один во всей вселенной,
Со мною книги, и гармонь,
И друг поэзии нетленной –
В печи березовый огонь...*

Огонь в печи – талисман. Шум сосен – спасительная музыка. А если непонятно, «о чём они шумят», – так в этой непонятности как раз и таится суть бытия. Понять нельзя, слушать надо. Слушать молча.

А потом – взбежать на холм, упасть в траву. И мысленно – «скакать по холмам задремавшей отчизны».

Холмы – острова спасения в этой бескрайности. Холмы – свидетели видений... Даже асфальтовый плен не может скрыть, что под асфальтовым покрытием – холм...

Тут в параллель с Рубцовым прямо-таки просится Иосиф Бродский. Там холмы и тут холмы. Пусть знатоки источников решат, кто кому обязан: то ли Рубцов подсказал лейтмотив Бродскому, то ли подхватил у Бродского... С такими пе-

рекличками вообще надо быть осторожными. Иначе и рубцовская строка: «Идут... как прежде, пилигримы» не проскочит мимо «ристалищ, капищ, храмов и баров» Бродского – зацепится... непонятно зачем.

Однако эту параллель охотно осмысливают многие исследователи (Виктор Бараков, Вячеслав Белков, Николай Коняев, Сергей Фаустов). Составлены даже сравнительные синхронные таблицы (этот – «матрос, кочегар, шихтовщик», тот – «матрос, кочегар, фрезеровщик», да чуть ли не в одно время); и изгнанники – оба, странники, люди «сторонны», люди «края» (один изгнан из города в деревню решением «суда», другого в деревню из города гонит нужда). И ещё: оба чаяли оказаться «у моря», да оказались по-разному и в разных морях. Да вот смысл скитанья противоположен. Бродский, разочаровавшись в идеалах «прекрасной эпохи», покидает страну с ненавистью к стране и эпохе – ищет места в подлунном мире. Рубцов, при всей горечи, иногда граничащей с ненавистью к тем, кого хочется «пырнуть ножом», остаётся в стране, а подлунный мир созерцает сквозь родную ночь.

И там, и тут идеальное выворачивается в трагическое, да векторы «выворота» противоположны. И интонации малосовместимы. Бродский, взрывающийся в просторы вселенной, и Рубцов... а он что же, не мечтает взлететь?

*Ах, я тоже желаю
На просторы вселенной!
Ах, я тоже на небо хочу!
Но в краю незнакомом
Будет грусть неизменной
По родному в окошке лучу.*

Не каждому, знаете ли, даётся уникальная русаковская способность (русаковская? А может быть, тютчевская?) лучшие годы прожить на Западе, душой оставаясь в России. Рубцов, весь сотканный из «русскости», – и за кордоном носил бы роковую мету... Такие, как он, уносят родину на подошвах сапог... и пропадают на чужбине от русских бед: от гульбы, от любви собутыльников (собутыльниц), готовых задушить кумира в своих объятьях.

Рубцов всё это получил в родном отечестве. Смерть и посмертную славу. Поэтому Россия в его странствии не «место действия», но загадка судьбы. Пароль без окончательного отзыва. Тайный схрон.

«Россия! Русь! Храни себя, храни!»

Откуда это заклинание? От чувства непрерывной, неуходящей угрозы?

«Эх, Русь, Россия! Что звону мало? Что загрустила? Что задремала?»

Звону мало? Праздника захотелось?

«И праздник устроим, и карты раскроем... Эх, козыри свежи, а дураки те же...»

Может, это игра в «дураки», а может, гимн Иванушке-дурачку, который тратит бездну сил, чтобы показаться проще, чем он есть на самом деле.

«Только знаю: потянет на Русь! Так потянет, что я поневоле разрыдаюсь, когда опущусь на свое вологодское поле...»

Вот он, праздник, подбитый слезами. То ли бездна отчаяния, то ли бездна гульбы.

Серединка-то есть ли? Холмик там... между безднами... Чувство, соразмерное среднечеловеческим возможностям?

А вот:

«Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно во мгле над обрывом безвестные ивы мои!..»

Ивы – музыкальная кода, прямо отдающая если не гармоникой, то лирой.

Потрясающе другое:

*Случайный гость,
Я здесь ищу жилище
И вот пою
Про уголок Руси,
Где желтый куст,
И лодка кверху днищем,
И колесо,
Забытое в грязи...*

Лодку можно починить, можно смастерить новую, высмолить, оснастить... Но куда деться от ночной звезды, глядящей в окно горницы? От тревожной незащитности русского бытия? От материнской могилы, что затерялась где-то среди ив и соловьев?

*Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
– Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.
Тихо ответили жители:
– Это на том берегу...*

Читатель, чувствующий поэзию, уловит здесь, помимо описания затерявшейся могилы и смятенности сыновних чувств, – куда более важный для стиха мотив – «покрывало грусти», тихо опускающееся на жизнь, равную смерти.

И этот грустный налёт – на всех зрелых стихах

Рубцова; сквозь эту горечь сквозят все другие чувства: от тихой покорности судьбе до отчаянной удали, вызывающе достоверной именно в уре этой покорности...

«Сумрак врачует душу...»

«Лунный свет овладевает миром...»

«Мне грустно оттого, что знаю радость...»

Иногда это почти неразличимо: ожидание неизбежной беды – и готовность принять её со смущённой улыбкой... Только и выговорить за миг до удара: «А за что?» Только и покачать головой вослед беде: мол, «грустить особенно не надо, на земле ещё не то бывало».

На земле? А в море? Интересно, что Рубцов, в годы флотской службы вырастивший охапки бодрых стихов на эту плавучую тему, – в зрелые годы, кажется, только раз и помянул её:

«Мне мерещится в темных волнах затонувший какой-то флот...»

Конец света как-то странно брезжит в привычной тьме: он так же близок душе, как сама тьма.

«Поезд мчится с прежним напряженьем где-то в самых дебрях мироздания, перед самым, может быть, крушеньем я кричу кому-то: «До свиданья!..»

И никакой паники: жажда сраженья зреет в каждом штрихе картины, и в ожидании сраженья замирает душа перед каждым штрихом... Мир бесконечно прекрасен, но неизбежна мысль: «А вдруг он лопнет, этот мир?» И если так, то – «взглянуть ещё на всё, что там осталось, и распрощаться... может быть, навек». И станет «угрюмо, угрюмо и как-то спокойно на душе...»

Угрюмо. Спокойно.

Откуда эта тихая уверенность, эта загадочная живучесть посреди разбойного мира с его резкими петлями и нервными тисками?

И это привычное следование мыслей за облаками и облаков – за мыслями, поверх неистовства бурь и безумия людей?

Так в этом-то, я думаю, и прячется загадочная притягательность рубцовской лирики: поверх страстей и безумств, набегающих из текущей реальности, в ней, в этой лирике, ощущается какая-то извечная, изначальная, откуда-то из вековой древности, из бесконечной народной двужильности встающая – загадочная устойчивость русской души.

Она-то и учуяна была читателями, далёкими от литературных свар, и пока репутация Рубцова вываривалась в щелочах критических заскоков, – люди чуяли другое: Рубцова слушали и читали, мысленно сооружая ему памятники...

Потом всё встало на свои места. К четырём то-

леньким сборничкам, изданным при жизни, добавились десятки книг. Общий тираж с десятков тысяч (что ничтожно мало для советской эпохи) перевалил за десятки миллионов (что неслыханно для эпохи рынка и базара), а там и считать перестали...

Там, где всё лирически шаталось и падало, обнаружилась нестигаемая устойчивость. Хотя шататься и падать всё вокруг продолжало – и в дискуссионно-распадные 90-е, и в гексагенно-взрывные 900-е, и в бикфордово-посверкивающие годы нового века и тысячелетия.

Меж идеалом и распадом – в разных вариантах.

Крайних вариантов – два. Если идеально-настроенное мироощущение наталкивается на тупую и жестокую неменяемость мира, – оно откатывается от идеализма в мрачный беспросвет, в чёрную меланхолию, в горькое отчаяние; если человечество лезет в гибель, так лучше уж вернуться к моллюскам, нырнуть к честным рептилиям какого-нибудь «Трескового мыса».

Это, так сказать, интеллигентский вариант.

Народный вариант – обратный. Ты шуруешь на тральщике в горячке трескового мыса, а когда впору отчаяться, – ощущаешь в душе неистребимую, неодолимую, необъяснимую опору.

Надо только молча вслушиваться.

Молчать – всматриваясь в полёт птиц, в полёт облаков, в полёт мыслей...

А если какой-нибудь Филя (просто Филя) спросит:

– Чего молчаливый?

– А о чём говорить? – ответит поэт, продолжая тихо слушать шорох бытия. Да иногда прибавит, чтоб отстали:

«Мне хорошо в моей пустыне».

Приятелей Рубцова эта пустыня приводит в недоумение, они пытаются его образумить.

«Вспоминается случай. Как-то знакомый писатель, обзрев скудную обстановку квартирки Николая Михайловича, попенял ему, что-де хозяин недостаточно радиво относится к устройству собственного быта; и пора бы обзавестись платяным шкафом, а не развешивать на гвоздиках по углам рубашки и пиджаки; да и сервант не мешало бы водрузить на положенное место, поскольку чашкам и ложкам не место на подоконниках и письменном столе. Тогда Рубцов смолчал. Но, видимо, обиделся и выговора не забыл, потому что вскоре при удобном случае дал волю своему характеру и выложил до конца:

– Меня не интересуют ваши шкафы и хрустали, – почти кипятился он. – Если они нужны вам, вы и заводите!»

Этот случай рассказан Виктором Коротаевым во вступительной статье к одноименнику Рубцова 1990 года. Наверное, таких «случаев», мешавших Рубцову вслушиваться в его молчание, было достаточно много, так что он даже выработал стандартную форму отлупа:

– Меня не интересует!

Далее – перечень всего того, с чем лезла к нему в очередь наша неистощимая реальность. Пока невзначай не придушила насмерть.

□

Лев Александрович АННИНСКИЙ

родился в 1934 году.

*Известный литературный критик,
публицист, литературовед.*

Автор более 30 книг.

*Работал в «Литературной газете»,
в Институте конкретных социологических исследований АН СССР,
в журналах «Знамя», «Дружба народов»,
«Литературное обозрение», «Родина», «Время и мы», «Юность».*

Автор и ведущий циклов передач на телеканале «Культура».

Живёт и работает в Москве.

В журнале «Север» публикуется впервые.

